

ИМЕННО этими словами встретил Первый секретарь КПБ председатели Союза писателей БССР в один из летних дней 1967 г.

Машеров спрашивал у Максима Танка:

— Кто кого обманывает? Адамович вас или вы — нас?

И все потому лишь, что я уехал в Москву на день или два раньше, чем вся писательская группа, делегированная на всесоюзный съезд СП.

— Он уже встретился с Солженицыным, — сообщил Машеров.

Но как они тут же узнали? В «Новом мире» в эти недолгие минуты встречи и разговора вроде никого постороннего не было: лишь Ася Берзер, Борисова да Ефим Дорош. У них что — было постоянное наблюдение за помещением, внутреннее просматривание здания, внешнее наблюдение? Разумеется, никакого уговора, «сговора» — встретиться заранее, обсудить, как на съезде будем подбивать «основы», и в помине не было. Поехал в Москву я чуть пораньше, потому что нужно подышать воздухом города, с которым связано было немало воспоминаний. А в «Новый мир» отправился по просьбе Янки Брыля: там набрались его миниатюры, и надо было срочно вернуть поправленную корректуру. Чтобы попасть в комнату Ефима Дороша, пройти следовало через большую комнату. За столом сидела Берзер, за другим — Борисова, а на диване я увидел Солженицына. В желтоватой тенистой, в руке у него какие-то листочки, на коленях портфель или сумка. Я его сразу узнал, однажды уже видел — при обсуждении «Ракового корпуса» в Доме литераторов, — рассматривал это блед-

плохо посидели) о ресторанном застолье — Рыгор Березкин любил употребить и в разговоре о своей и других зекх судьбе. Неплохо посидели — лет двадцать!

Я бывал в гостях у Владимира Дубовки, в нем жил острый интерес к незапуганным «детям XX съезда», и он к себе приглашал, наверное, не одного меня. В свои московские Черемушки. (В памяти пятиэтажки черемушкинского типа.) Конечно, я его расспрашивал о сибирской ссылке. Поражали некоторые вещи. Прежде всего, удивительное соответствие внешнего облика красивого белобородого и ясноглазого старика толстовским описаниям возвращающихся из ссылки декабристов. Которые были подчеркнутой противоположностью своим одноклассникам, прожившим жизнь в холо и лжи петербургских и московских гостиных и департаментов, обрюзгшим, духовно изношенным, противным и внешне, и внутренне. Но поражающе и другое: насколько «наша» каторга была беспреступнее той, «царской». Вот такой разговор.

— Вы привезли свои сибирские стихи?

— Нет. Потому что их не было.

— Что, даже не на бумаге, а хотя бы в памяти. Неужто не сочиняли ничего?

— Ничего.

— Пилишь лес, а в сознании... — пытался я представить непредставимое.

— Даже подумать страшно было. Орифме, о стихе. О белорусском слове — тем более.

— Но у вас такая прекрасная живая речь белорусская. В Минске такую уже не услышишь.

— Это оставалось. За семью печатями. Но чтобы снова писать?... Даже мыс-

лости. Женщина же прокурор потому избирает такую профессию или роль, что во всем другом лишена радостей, так что она с тобой расквашается за все, что при рода ей недодала. Или отняла у нее. Взять ту же критикессу Книпович, которую, говорят, сам Александр Блок любил, — нам в это было не поверить, таким она стала казенным сухарем.

Зальчик заполнялся, все ждали Солженицына. Хотя здесь собрались люди той же, что и он, писательской профессии, но, видимо, не один я сознавал в эти минуты: писатель — не профессия. Если точнее — не всего лишь профессия. Потому что такой не бывает: властитель дум, властитель душ. Скорее — фамилия, имя. Вот он появился в дверях, вошел — не писатель вошел, Солженицын вошел. В руках картонная папка, лицо напряженное, замкнутое. Видимо, вот такой он входил в кабинет следователя. Аплодисмента не было, и было бы нехотяти. Вначале несколько нейтрально вступительных слов сказал председатель секции Березко: зачем собрались, что обсуждается. Потом заговорили. Сразу была взята высокая планка. В оценках романа и самого автора. Сознательно, видимо, особый акцент делался на художественных достоинствах, языке, на великих традициях русской классики. С каждым новым выступлением планка поднималась, заострялось политическое звучание произведения: Бакланов, Каверин... Дышать в маленьком зале становилось легко-лег-

грудь белых рубашках, а тут явился «делегат». Поздоровались. Разговор, который у Василия с ним продолжался, был не о съезде. И мы не говорили ни о письме Солженицына, ни о том, что и как будет на съезде (успокойтесь, Петр Миронович!) — просто знакомились. Гость не присел, он стоял, ходил и рассказывал о своей новой книге «Август четырнадцатого». Выяснилось, что в ней действие происходит и в Белоруссии, от этого разговор перешел к последней войне, нашей...

Да, был момент вначале, для меня не очень приятный. Василь, с обычной своей щедростью на похвалы друзьям, доложил, что он (т. е. я) написал роман о войне. И сразу глаза гостя заскучили. О войне, прочел я в них, по-онятно, наверное, что-нибудь вполне советское, еще одна «Молодая гвардия»? Но, узнав, что столь молодой автор на войне сам побывал, в партизанах, снова оживился, не романом, а этим фактом заинтересовался. Оказалось, мы с ним были в конце 1943-го в начале 1944-го на одном, Гомельском, направлении: только их дивизия на восток от немецких позиций, а мы — с запада. Так сказать, взаимодействовали. Василь достал фотоаппарат: «Сейчас я вас сниму на память». Александр Исаевич уселся в глубоком кресле, я пристроился сбоку на мягком подлокотнике — так и получились. Я с гримасой недовольства, смущения на лице (все от галстука?). На одной из фотографий лицо Солженицына озарено улыбкой — редкий для тех времен момент, кадр. Василь что-то веселое сказал, был он очень оживлен, непривычно улыбаясь в это утро — видимо, передалось и гостю.

Потом я их снимал. Гость засобирался уходить. Я вышел с ним в вестибюль, проводить. У ковровой лестницы вдруг осе- нило мэня:

— А давайте сходим позавтракаем в ресторан.

— Я в рестораны не хожу, — ответил Солженицын почти сурово. Потом взглянул на ресторанный человека в галстуке, загадочно усмехнулся и унесся вниз

Алесь АДАМОВИЧ:

# “КТО КОГО ОБМАНЫВАЕТ?”

Моя колонка — 1994. — 26 февр. — С. 3

Кажется, совсем недавно звонил в редакцию Алесь Адамович. Предлагал отрывок из написанной им статьи. Дого-

ворились, мы ждали рукопись. И вдруг — это страшное известие...

ное продолговатое лицо в рыжеватой бороде, в бакенбардах. Лик старовера-раскольника. Такие в белорусских «кацапских» деревнях вблизи моей Глуши иногда мелькали, встречались. При первом взгляде поражающий шрам на лбу, чуть правее переносицы, заставлявший вспомнить обо всем, что пережил этот необыкновенный человек. (Хотя потом я узнал, что шрам этот из времен дофронтовых и догалаговских.)

Александр Исаевич, это Адамович, из Минска, — сообщила Ася Берзер, когда я влетел в комнату.

Сидевший на диване человек пружинисто поднялся и сразу меня ошарашил:

— Я вас знаю. Я вам послал письмо.

— Мне?

— Да, я послал Быкову и еще... (Назвал, кажется, Карпенку и Брыля.) Многим. Вы получили?

Я уже несколько дней в Москве. Наверное, не заснул.

Совершенно неожиданно он завокнулся, даже захохотал:

— Ах, как жалко! Может, вам перешлют? Или здесь у кого...

Чувствовалось, что для него, разославшего несколько десятков писем с обращением к писательскому съезду — вопрос о цензуре, о защитительной функции писательской организации, — очень важно было, прозвучит это на съезде или не прозвучит. Человек делал только то, что считал важным. Потому огорчился, что вот одно письмо пролетело мимо — да это был снайпер, не нам всем чета!

Возбужденный не меньше его, но по другому поводу — встреча с Солженицыным! — я заговорил про то, что ему могло быть интересно. Про его интервью югославской газете «Борба», которое мы читали в Минске. Он что-то на это отвечал, при этом не переставал огорчаться:

— Ах, жалко! Вы у друзей возьмите письмо, хорошо?

Вот и вся моя новомирская встреча и весь разговор с Солженицыным, столь насторожившие моему государству раз первый человек республики специально вызвал председателя писательского союза, чтобы выяснить, что за этим, чей тут обман.

Я проследовал к Ефиму Дорошу, сидел у него очень недолго, но, когда вышел, в большой комнате были только женщины.

Ничего не зная о переполохе в Высоком доме в Минске, я через день или два увидел во дворе, где находится журнал «Дружба народов» и где вход в Союз писателей СССР, подехавшую машину и вылезавших из нее Ивана Петровича Шемкина и Евгения Ивановича Танка. Я, конечно, подошел, Иван Петрович как-то странно, будто на привидение, посмотрел на меня:

— А, Алесь!..

И Танк почему-то смущен. Лишь вечером от Янки Брыля я узнал, в чем тут причина.

Было удивительно, что Александра Исаевича так волновало — получили или не получили его письмо-обращение. Хотя я был однажды свидетелем встречи его с писателями, которая, пожалуй, многое объясняет. Было это при обсуждении его «Ракового корпуса», где он мог убедиться, что не всегда советские писатели — послушное партийным покаяниям стадо. Происходило это, по-моему, зимой — весной того же 1967-го. «Раковый корпус» был набран в «Новом мире», цензура его перебрала в ЦК, а оттуда — Федину. Мол, мы самим писателям доверяем. Что при этом сказано, «рекомендовано» было «чучелу орла» (так в то время называли писателя своего «нового Горького»), неизвестно. Но он, как и положено «чучелу», — молчал, не подавал живого голоса. И вот решила проявить инициативу секция прозы.

Я узнал случайно, что состоится такое обсуждение. Скорее всего, в «Дружбе народов» сказали. Отсылая телефон заведующего секцией прозы Георгия Березко, нашего земляка к тому же, позвонил, стал напирать на их мероприятие. И получил вежливый отказ: лишь члены секции, никто больше не допускается. Обижаться на земляка не хотелось, зная, под кем и он ходит. И тем более учитывая его жизненный опыт. Белорусский писатель, когда-то знался с «кувышечниками», не уничтожили с остальными заодно, не сослали только потому, что забыли о нем (скорее всего так) — за несколько лет до ареста он уехал жить в Москву. (В Минске выпал из поля зрения «органов», а в Москве же успел в это поле попасть — так иногда случалось.)

..

Н Е ЕГО ли судьба подсказала такое же решение и нашему Владимиру Дубовке? После многолетней отсидки он вернулся в Минск, но перебрался в Москву. Возвращали их, уцелевших, — Дубовку, Скрыгану, Гроховского, Хведоревича, Звонка, Шушкевича, Березкина и других — в декабре 1956 года, поэтому окрестили их «декабристами». Все тот же черненький белорусский юмор. Излюбленное выражение Петруся Бровки, «минского Федина»: «Няблага пасядзелі» (не-



ли об этом не было. Казалось — все.

Величавая красота его удивительного лица, голубых глаз поблекла, куда-то все исчезло, когда стал, почему-то полупешотом, рассказывать про человека, на днях к нему заявившегося, вроде бы знакомого по Сибири, но он ему не верит, явно подсыпав, все, все еще может вернуться, повториться, хлопцы, вы должны это знать... Ничего, ничего не изменилось, не обманывайтесь!

Ну, а мы-то считали, что изменилось главное. Потому что мы, как нам казалось, другие. И нас уже «назад не поменяют» не изменят.

Помню, выступал я, еще при Хрущеве, в Малом зале московского Дома литераторов — в котором и должно было состояться обсуждение «Ракового корпуса» — и эту именно мысль высказал. И еще: залог необратимости — в солженицынском «Иване Денисовиче», в том воздействии на умы, которые он оказал.

Следующий за мной выступавший на эту мою самонадеянность и на то, что сказал про Солженицына, только хмыкнул сердито и презрительно, как бы отмахнулся. Не помню уже, кто это был, но из партийного руководства. Они потом простую тактику изберут: кого невозможно изменить, «помянуть назад», через того переступим. Именно это и осуществилось в послехрущевские, в брежневские времена.

..

РАЗВЕДАВ, где и во сколько будут обсуждать солженицынский «Раковый корпус», я пришел в Дом литераторов заранее. Дверь в Малый зал распахнута, но не для таких, как я. Пройти мимо женщин-церберниц дамской и воронковской напастки — и думать нечего. Но тут я увидел роскошную бороду и неизменный громадный портфель Бориса Можая. Слушай, как тут пройти? Хитрый глаз рязанца на миг затуманился в затруднении, но тут же снова расясил. Пошел!

Придерживая меня, очень уважительно, за локоток, подвел к первой цербернице, притушив голос, глухо сообщил ей:

— Это — Адамович...

Женщина, впервые слыша фамилию человека, очевидно, очень значительного, соспустила с дороги. Сработало и во втором кордоне, у самой двери. И вот я в заветном зале. По вдруг вернувшейся давней глушанской привычке — когда мы без дозвола проникали в клуб на танцы — я устремился подальше от двери, к самой стеночке. Впереди у стола — Бакланов, Каверин, Ахмадулина в роскошном белом (и да простит Белла мою память: залитом вином — желтое пятно) свитере. Но значит, это была зима или весна.

И Георгий Березко там: я отвел глаза, будто не я это, нет меня здесь. И эта явилась — Зоя Кедрина. Выступала на суде над Синявским и Даниэлем с гневным обвинением «предателей». Прислали ее и сюда? Нет, мужики тоже сволочи в таком качестве, но бабы и того хуже. Страшнее женщины-прокурора не бывает прокуроров. Мужчина в этой роли может иметь человеческие слабости (бабник, выпивоха) и не всю энергию направляет на стро-

ко, будто стены куда-то ушли, и перед нами — свободная, открытая, смелая страна. Где не боятся правды, где презирают даже полуправду, не то что ложь, умолчание. Сейчас мы примем резолюцию, постановление, и судьба солженицынского романа будет решена. Ведь все так просто, понятно, разве есть что-то и что-то, могущее воспротивиться самой правде, голосу такого гражданина.

И тут поднялась, попросила слова Зоя Кедрина. Зал протестующе вздохнул, она выбралась из ряда, шла к столу, а в это время зал, вдруг разом поднявшись, выходил вон, за дверь. Как вода из лопнувшего внезапно кувшина. Повернулась Зоя к аудитории, а перед нею — я и еще несколько человек. Хорошо москвичам — вошли, вышли, снова войдут. А меня возьмут и не впустят второй раз. Уж лучше переживу стыд отщепенца. Не вымашите меня, дудки! Провинциалу простится.

Заговорила Зоя Кедрина, но услышали мы совсем не те слова, которых ожидали. Никто из предыдущих ораторов не вознес так высоко Солженицына: Толстой, Достоевский — где-то там далеко внизу. Ведь это наш писатель, советский, новый этап в развитии мировой литературы. Вот так — обошла всех Зоя. Зал, несколько смущенный, возвращался в свои берега. Поднялся, заговорил Александр Исаевич. Лицо совсем не такое, с каким он к нам входил. Входил он к врагам, или трусам, или купленным писакм, разговаривал же теперь — с писателями, почти обрадованно, с заметным облегчением, с надеждой. Надо только быть вместе. Ничего не бояться. Не бояться и не просить, а требовать.

Вот про это я и хотел тут сказать: письмо писательскому съезду рассылаю человек, однажды поверивший, что не все и в писательской среде убито, испорчено, закуплено, запугано — есть к кому обращаться.

Да, в самом конце встречи произошел маленький инцидент. Поднялась со своего места Ахмадулина и направилась к Солженицыну. Лицо ее — необычайное сочетание всегдашней нервности, возбужденности и одновременно отрешенности, почти азиатской замкнутости. Впрочем, я больше всматривался в лицо Солженицына: удивление сменилось растерянностью, затем — откровенная паника, столь не свойственная его чертам. Но тут запаниковал: восточная красавица взяла его руку, но не погладит — вдруг наклонилась и поцеловала.

..

И ВСЕ-ТАКИ встреча, уже не случайная, с Солженицыным состоялась, только несколькими днями позже, о чем доложили Петру Мироновичу Машерову. У нас с Быковым — и как раз в день открытия писательского съезда.

Поселили делегатов в гостинице «Москва». Звонил утром, голос Василия: «Зайди». А я уже галстук навязал, так сказать, в честь съезда, в столь неприличном для себя официальном виде и появился в номере Быкова. И сразу почувствовал себя дураком: в комнате — Солженицын, оба они по-домашнему в расхристанных на

по лестнице.

Василию он прислал письмо с припиской: «Привет А. М.». А мне Василь переслал из Гродно фотографии. Алексей Карпюк мне их привез, но не дозволился по телефону, а приехать по адресу и бросить их в мой почтовый ящик, видимо, посчитал лишним. Запечатал в конверт и послал по почте. И я их получил. Потом долго прятал от чужого взгляда, распыливая (часть передал на сохранение дядьке Антону, жившему в другом городе). Свои же упрятал в толстую книгу. Там же на стеллажах хранилась и ненапечатанная глава о Сталине из «Карателей». Конспиратор! Уже после смерти Алеша Карпюка я вдруг узнаю от Василия, что посылал он и негативы. Так вот их в конверте не оказалось. Вот такие мы с Алексеем Карпюком были конспираторы.

Недавно Юрий Карякин посетил Александра Исаевича в Вермонте. Через него я послал не известную Солженицыну его фотографию. Вдвоем с человеком в галстуке.

..

МОСКОВСКИЙ молдаванин Ион Друца, между прочим, автор одной из лучших статей про солженицынского Ивана Денисовича, рассказывал мне о потрясшей его встрече с незнакомой женщиной. Ее историю. Позвонила и попросила выйти к ней в сквер. Заинтересованный Ион отправился. И вот что услышал. Мы, бывшие эски, все видим, все слышим. Что, и кто, и где говорит. Что вы там пишете. Там, на лесоповалах, женщины поклялись друг другу: никогда не простим! И про то, как, поднимая, таская чужонные комли елей, женщина падает, а затем садится на снег и запикивает назад вывалившуюся матку... И клятва: кто выйдет на волю, останется живой, обязан сделать все, чтобы не спрятали, не утаили от мира ничего злодея.

Система, казалось, все сделала, чтобы не всплыла вся правда о невиданных злодействах. Убирала любых свидетелей. И тех, кто убивал, — тоже. И убийц убийц. И так без конца. Все новые и новые поколения обращались в лагерную пыль, от которой не должно было остаться и памяти.

Нескончаемая цепь преступлений, питаемая ко всему еще и страхом суда, суда истории. Убрать всех свидетелей, даже если свидетель — весь народ. Или даже целый мир. А тут и ядерная бомба подоспела очень кстати...

И надо же, чтобы из-под руки, из-под локтя выскользнул от них самый опасный свидетель. И заговорил. Перед всем миром, человечеством. Уже по одному этому Система была обречена. И не такие дозы правды вызывали в ее «монидеологическом» организме, лишенном иммунитета против «иноидей», острую лихорадку.

Еще до встречи с Солженицыным от Бориса Можая я узнал (прямо на улице был разговор): Исаич готовит страшный удар по Ленину — книгу «Ледяной Архипелаг». Но ведь это — прежде всего удар по Сталину, про его лагерь? Да нет, ему нужен противник покрунее — самого Ильича подавай. Делом своей жизни Исаич считает разрушение дела жизни Ильича.

Нет, не скажу, что я поверил в возможность для одного человека совершить такое. Верил ли сам Солженицын — тоже вопрос. Ведь признавался потом (Карякин слышал от него самого), что, когда почти 20-миллионная партия в августе 1991 года покорно приняла свою «отмену» — согласно бумажке, подписанной Ельциным, его, Солженицына, охватил неудержимый приступ нервного смеха. Что, так просто, легко расслабился в прах разбуженный на крови миллионы жертв, до зубов вооруженный от всех неожиданностей, казалось, застрахованный монстр? Да не может быть! Действительно, все еще лягается в конвульсиях, в агонии. Но рухнул, и это неопровержимо.

Не один Солженицын готовил и подготавливал акт исторического возмездия Системе-убийце. Но никто не сделал столько, чтобы эмоционально подготовить людей к этому, своих сораздаив особенно.

Публикация Ирины Ковалевой. Полностью статья будет напечатана в журнале «Московский клуб».